

Михаил Яснов

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧУДЕТСТВО



Книга о детях, детской
поэзии и детских
поэтах

ДОМ
ДЕТСКОЙ
КНИГИ

Михаил ЯСНОВ

**Путешествие в чудетство.
Книга о детях, детской
поэзии и детских поэтах**

«ДЕТГИЗ»

2014

Яснов М. Д.

Путешествие в чудетство. Книга о детях, детской поэзии и детских поэтах / М. Д. Яснов — «ДЕТГИЗ», 2014

«Однажды я услышал замечательный пример некоего детского речения. Ребёнка спросили:– Для чего тебе две руки? Взрослые, наверное, думали, что ребёнок ответит примерно так: чтобы что-нибудь построить из кубиков, слепить из пластилина, то есть сделать нечто познавательное, а то и необходимое для своего детского хозяйства. Но тот ответил:– Одна рука нужна, чтобы держать маму, а другая – папу!...»

ББК 83.8

Содержание

«Не стой под грузом!», или Из чего состоит эта книга	6
Из давнего	8
Начнём с отступления	8
Уроки детской поэзии	26
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Михаил Яснов
**Путешествие в чудетство. Книга о детях,
детской поэзии и детских поэтах**

Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга

© М. Яснов, текст 2014

© Д. Пласкин, оформление 2014

* * *

Автор благодарит Андрея Русакова, Михаила Эпштейна и редакцию газеты «Детский сад со всех сторон» за помощь в работе над этой книгой.

«Не стой под грузом!», или Из чего состоит эта книга

Однажды я услышал замечательный пример некоего детского речения. Ребёнка спросили:

– Для чего тебе две руки?

Взрослые, наверное, думали, что ребёнок ответит примерно так: чтобы что-нибудь построить из кубиков, слепить из пластилина, то есть сделать нечто познавательное, а то и необходимое для своего детского хозяйства. Но тот ответил:

– Одна рука нужна, чтобы держать маму, а другая – папу!

А вот ещё один пример – уже из литературы.

Полвека назад Виктор Голявкин написал рассказ «Все куда-нибудь идут», который, на мой взгляд, должен входить во все хрестоматии, – с него, может быть, началась в нашей детской литературе негероическая, неброская, но особая, индивидуальная (и семейная!) судьба маленького ребёнка:

«После лета все во дворе собрались.

Петя сказал:

– Я иду в первый класс.

Вова сказал:

– Я во второй класс иду.

Маша сказала:

– Я в третий класс иду.

– А я? – спросил маленький Боба. – Выходит, я никуда не иду? – И заплакал.

Но тут Бобу позвала мама. И он перестал плакать.

– Я к маме иду! – сказал Боба.

И он пошёл к маме».

Оба эти примера представляются мне сегодня развёрнутой метафорой того, что представляет из себя детская поэзия, стихи для малышей. Это – семейное тепло, внимание взрослых и решающая поддержка ребёнка в его мире.

Педагоги, работающие со старшими детьми и, особенно, с подростками, сетуют на то, что ценности современных детей не связаны с нематериальными понятиями. Чтобы вернуть подростку духовность, мы должны, прежде всего, одарить ею малыша. Детская поэзия – это не только игра; это воспитание сострадания, сочувствия и умения эстетически воспринимать жизнь.

Как-то раз мне пришло в голову такое начало стихотворения:

Прошла пора пурги и стужи,

Сегодня –

День рожденья лужи!

Раз день рожденья – нужны подарки. Какие подарки можно сделать луже? После некоторых размышлений появилось продолжение:

И ветер стих,

И полдень ярок,

И в сердце лужи всё светлей.

А небо сделало подарок

И подарило тучку ей.

Здесь моё воображение забуксовало: мне надо было «живьём» увидеть эту тучку, висящую над лужей, и, хотя зима кончалась, наше петербургское небо было сплошь покрыто облаками, и никакого праздника не получалось. Пришлось отложить стихотворение до весны. Но однажды я всё-таки подстерёг тот миг, когда над примеченной мной лужей повисла в чистом небе настоящая «подарочная» тучка. И вот что меня поразило: снизу тучка была освещена солнцем – получалось, что у неё розовое брюшко, но у отражения в луже было всё наоборот, у тучки в луже была розовая спинка! И я понял, что такое «визуальное» открытие и есть лучший подарок маленькому читателю:

У тучки
Розовое брюшко,
Она лежит в воде, как хрюшка...
Нет, в луже – всё наоборот:
У тучки
Розовая спинка,
Она лежит в воде, как свинка,
А может быть, как бегемот.

Но как её ни назови,
Лежит и тает –
От любви!

Одно из предназначений поэзии для детей – создавать атмосферу сотворчества, вызывать ребёнка на поэтическое соревнование и, самое главное, раскрепощать его в отношениях с языком, то есть с миром.

Помню небольшой рассказ Бориса Владимировича Заходера: «У меня на глазах, – вспоминал поэт, – прошла история одной прелестной девочки, дочери наших близких друзей. До сих пор – уже добрых двадцать лет! – у нас хранятся её рисунки школьной поры – смелые выразительные рисунки настоящего художника. Она обещала стать блестящим графико-иллюстратором. Родители – разумеется, из лучших побуждений! – решили подготовить её в соответствующее учебное заведение. Наняли репетиторов. И – на третий, помнится, год – те научили её писать шрифты и рисовать плакаты точь-в-точь так, как требовали условия приёма. Её приняли. Она окончила институт. И так и пишет шрифты: “Не стой под грузом”».

Эта книга состоит из нескольких разделов и нескольких отступлений: надеюсь, читатель найдёт ключики к тем и к другим. Это вовсе не страницы истории нашей детской поэзии (поэтому все разделы – по выбору автора – начинаются с «Из...»). Это небольшой опыт чтения детских стихов, краткие эпизоды из общения с детскими поэтами и исследователями детской поэзии и, конечно, с нашими юными читателями.

Я бы очень хотел, чтобы мои заметки помогли оградить ребёнка и родителей от таких репетиторов и учителей, о которых упомянул Борис Заходер. Давайте читать стихи, играть в стихи и размышлять о тех, кто пишет для детей. Очень надеюсь, что среди моих многочисленных героев найдутся те, кто смогут стать поэтическими друзьями ваших чад. Они писали и пишут стихи, а не шрифты.

Из давнего



Начнём с отступления *У каждой биографии есть своё предисловие – и-м-то я и воспользуюсь*

Я родился в Советском Союзе, в Ленинграде, в тысяча девятьсот сорок шестом году, в обычной семье, в достаточной бедности. Эти пять «в» могли особым образом определить дальнейшую судьбу. В чём-то и определили.

Родиться в России середины XX века – тот ещё жребий. Может быть, его скрашивает рождение во второй столице, а не в провинции. Вопреки устойчивому в европейской культуре мифу, родиться в провинции малоперспективно. В русской – тем более. Если не считаться с вынужденным или генетически заложенным желанием рано или поздно эмигрировать.

Время для рождения оказалось символическим: через полгода после моего появления началась пресловутая ждановская компания. В свои полгода я уже стал свидетелем расправы над литературой. Потом известная борьба с космополитами, «дело врачей». Атмосфера тай-

ной вражды и нетерпимости ощущалась даже в детском саду. После ареста отца и изгнания в коммуналку наша бедность плавно переросла в нищету.

Вопреки расхожему мнению, мы приобщаемся к предкам не тогда, когда умираем, а когда рождаемся. Тут-то они и оказываются за нашей спиной – все эти многочисленные и неведомые родственники, выходцы из разных уголков страны, с провинциальными судьбами, перелопаченными жизнями.



Наконец, вопреки распространённым представлениям о родственной взаимопомощи, мы всегда были почти одни. Родичи страшились помогать друг другу, резко отказывались от случайно эмигрировавших отщепенцев, с твёрдостью отворачивались от репрессированных, старались по возможности слиться со средой.

В детстве моя среда – люди в ватниках, очереди в магазинах, на перекрёстках – инвалиды без рук, без ног, просящие милостыню; серый фабричный двор с кучами металлической стружки, пьяницы, продолженные в их детях, подступающие к горлу запахи детского сада.

Больше всего в факте рождения меня интересуют предки, предшественники. Именно рождение потомка вызывает их из небытия. У каждого человека своё особое отдалённое прошлое.

Мы родились в один день с сестрой – только я на четырнадцать лет позже: я был подарком на её день рождения. У нас с сестрой совершенно разные предки.

У неё – это люди, которые существовали сами по себе, отдельные имена, лица, тени, когда-то промелькнувшие в жизни. Худо ли, хорошо ли, они воспитали множество детей, что-то зарабатывали, что-то теряли, болели определёнными болезнями, умирали от конкретных причин (моя сестра была врачом). Это тёплое слово «родственники». Это – «Ася из Нижнего Новгорода», «Борис из Москвы», «Митя из Казани», «Лёва из Минска». Между Асей и Лёвой может быть расстояние в семьдесят, а то и в сто лет.

Для меня – это люди, которые существовали не сами по себе, а в своих подробностях. Сами по себе они мне чужие и чуждые. Неведомые личности. Холодные слова. Не столь важно, когда они жили. Важно другое: как дедушка выпивал перед каждой едой стопку водки и как ставил её, пустую, на столе перед собой – всегда на одно и то же место. Важны подробности, с которыми моего юного дядю в двадцать втором году скинули с поезда – за то, что большевик и студент. Важно, как у тёти Наты выпирали из туфель толстые ноги.

Ноги тёти Наты выпирали из туфель, как тесто из кастрюли. Как выпирает тесто, я знал с младенчества: мама всегда готовила, я всегда был рядом, на кухне. Плита, дрова, уголь в ведре, кастрюли с кипятком, жгуты мокрого белья – мир моего детства. На кухне меня мыли в корыте. На отогнутом краю жестяного корыта была дырка для гвоздя. Мама тёрла мне волосы отвратительным вонючим мылом, которое нещадно щипало глаза, я засовывал палец в эту дырочку – она отвлекала. Однажды палец застрял, было страшно больно, мама кричала.

Когда я был совсем маленький, мама на меня покрикивала. Это сейчас я могу понять – атмосфера жизни была такова, что только криком можно было заглушить боль. У нас жил огромный – как мне тогда казалось – кот Васька. Васька нас воспитывал. Стоило ему услышать какой-то чрезмерный шум, он бросался к источнику этого шума и впивался в него когтями. Если мама увеличивала громкость радио – большой тарелки, висящей у дверей, – Васька бросался по косяку вверх и пытался разодрать её когтями.

Я боялся реветь – Васька не раз цапал и меня. Потом он исчез, но уроки его остались.

Несколько лет мы жили на казённой квартире, на территории мебельной фабрики: отец после войны был определён туда главным инженером. До войны папа много учился: в Минском сельхозинституте, потом в Казанском, на лесотехническом отделении, потом в Ленинградском Инженерно-педагогическом институте, потом на курсах Лесотехнической академии... Его отец, мой дедушка, до революции был лесопромышленником, занимался продажей леса. Папа пошёл по его следам. При сталинском режиме прошлое рухнуло, и следы эти в конце концов привели в крохотную, полупустую квартирку, которую тут же отобрали, едва репрессивная машина коснулась нашей семьи.

Территория моего младшего детства – кухня и две смежные комнаты этой квартиры, двор при фабрике, закрытый для посторонних, грузовики, на которые я со страхом забирался, многочисленные деревянные кубики и «строительный материал», – льстивые подарки папиных подчинённых. Мне под страхом смерти было запрещено появляться в цехах фабрики, но иногда я увязывался за папой, и, пока он с кем-нибудь разговаривал, крепко держа меня за руку, я с вождением рассматривал станки: на них с бешеной скоростью крутились деревянные болванки, превращаясь под инструментом токаря в ручки от шкафов, ножки этажерок, круглые подлокотники будущих кресел.

Запах стружки, краски, лака, металла, машинного масла – это существенная часть моего детства. Обоняние и тактильность стали затем существенной частью и всей жизни.

Иногда папа брал меня в кабинет, я устраивался под его рабочим столом и играл в кубики. Меня там никто не видел, и я предавался своим детским мечтам. Однажды к папе заглянул неизвестный человек, увидел, что в кабинете, кроме папы, никого нет, странно сложил пальцы обеих рук так, что получилась решётка, улыбнулся и вышел.

Много позже, уже после возвращения из лагеря, папа расшифровал мне этот жест и этот эпизод. Нанятый органами, никому не знакомый, тот человек ходил по фабрике и терроризировал сотрудников, показывая своим жестом, что их всех арестуют. Так оно и вышло.

В 1951 году папа был репрессирован, якобы за растрату фабричного спирта, получил пятнадцать лет, провёл в лагерях три с половиной года, в пятьдесят шестом был реабилитирован. Мы легко отделались, хотя после войны и лагеря папа уже не восстановился. В молодости он был чемпионом Минска по тяжёлой атлетике.

Я всю жизнь невольно смотрю на руки собеседника. С ногами – другая история.

Всё те же, почему-то так запомнившиеся, ноги тёти Наты... В старости она совсем не может ходить и превратится в рыхлую, прокисшую и прокуренную горбушку.

У дяди Зямы жали башмаки – сняв их, он шевелил пальцами в чёрных носках. Я дёргал за один из пальцев, пытался напугать, – через четверть века в ранку на этом пальце попадёт инфекция, дяде Зяме отрежут палец, потом ступню. Он умрёт во время операции, когда ему будут отнимать ногу.

У двоюродной сестры Нины были красивенькие ножки в мягких меховых тапочках. Улучив секунду, я, как щенок, цапал тапок и уносил с собой. Это был трофей, это была сублимация любви.

Добрую часть детства я провёл под столом. Подстолье было миром, из которого я родился. Возможно, у каждого есть ощущение и память такого второго физического рождения. Никто не помнит, как он явился на свет из материнской утробы. В первопамяти её заменяет другой объект: пелёнки, колыбель, кровать, распашонка, что-то ещё. Для меня явление в мир началось из-под стола.

В доме так тесно, что малыш уползает под стол. С подстольем связан разнообразный мир моего детства: ноги, чулки, носки, брюки, туфли, тапки, игры, уловки, испуги, потешки. Здесь могли начаться комплексы.

Позже один литератор написал: «Писателя кормят ноги». Я могу добавить: «...и память о них».

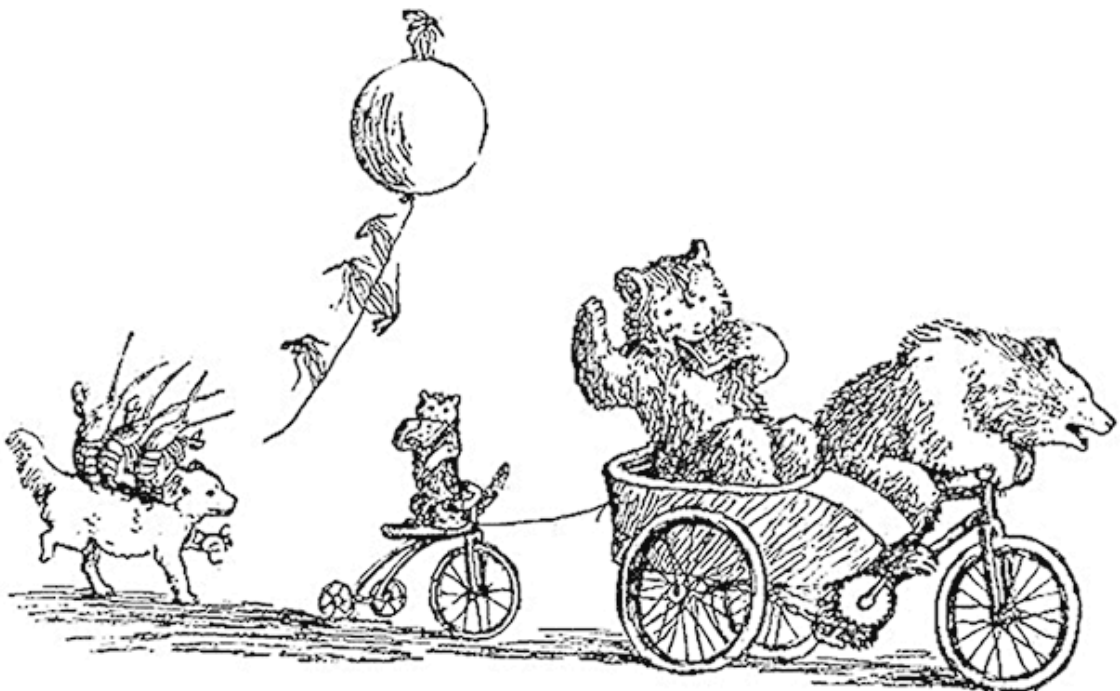
Моей маме запретили рожать. Я был поздним ребёнком. За спиной отца была война и контузия. За спиной матери – эвакуация и голод. Когда маме было восемнадцать, она попала под лошадь и всю последующую жизнь ходила в корсете. В молодости она закончила курсы медсестёр – это было её единственное образование.

Нас оказалось много, родившихся в сорок пятом, в сорок шестом. Мы дети войны.



Мама рассказывала, что я родился синим, полумёртвым. Правым глазом я почти не вижу с самого рождения. Я вообще левша, только переученный. Всю жизнь нас переучивали, перелицовывали.

Что я увидел левым глазом, когда явился в мир? Мир этот был перевёрнут, я, естественно, не знал, что вскоре он обретёт свои реальные очертания. На самом деле, я, как большинство советских детей, так и остался жить в перевёрнутом мире. За что и приходится ныне расплачиваться.



Ещё одно из самых ранних воспоминаний: сижу на высоком деревянном стульчике перед столом. На груди повязан слюнявчик. На столе передо мной стоит тарелка с отвратительной кашей. Вижу, как алюминиевая ложка зачерпывает кашу и плывёт к моему рту. И слышу мамин голос:

**Ехали медведи
На...**

– ложка отправляется в рот –

**...велосипеде.
А за ним кот
Задом на...**

– вторая ложка отправляется туда же –

...перёд!

Так уже в младенчестве в меня входило рифменное ожидание, и связано оно было чуть ли не с физиологией: ложка каши проглатывалась «под рифму». Потом я понял, что именно так образуются в душе зачатки вкуса, меры и такта, что воспитанная подобным образом любовь к поэзии подразумевает (по крайней мере, должна подразумевать) богатство чувств. И это главное, к чему может привести поэтическое воспитание, о котором ныне снова так часто приходится говорить.

Советское детство, по крайней мере, в тех реалиях, с которыми сталкивался я, маленький, – это чувство постоянной и невыносимой тоски. Тоскливый двор-колодец. Тоскливый булыжник улицы Дзержинского. Тоскливый детский сад с резким запахом манной каши. Тоскливое ожидание важных сообщений по радио. Для меня голос Левитана не был голосом войны и победы – это был голос решений и постановлений, враждебных и непонятных слов. Ещё одно тоскливое воспоминание: огромное кирпичное здание: мы с мамой стоим во дворе, перед нами стена и множество окон с решётками. Там, за решётками, бесконечное количество лиц. «Вон папа!» – говорит мама и показывает куда-то вверх. Я ничего не вижу, кроме рук, вытянутых в проёмы окон. Пересыльная тюрьма.

Через три года папу вернули в Ленинград из сибирского лагеря: нужны были специалисты на строительстве сталинских домов. Однажды мы его навестили, и во время свидания папа передал маме что-то завёрнутое в тряпку: это был подарок на мой только что прошедший день рождения. Подарком оказалась гипсовая голова собаки, которую по папиной просьбе вылепил для меня один из его сокамерников.

Эта гипсовая голова долго лежала в ящике с моими игрушками, потом перекочевала куда-то на антресоли, потом во время переездов затерялась среди домашнего скарба, и воспоминание о ней выветрилось из моей головы, занятой уже совсем другими проблемами.

Десятилетия спустя на другой день рождения – двенадцатилетие моего сына – мы купили маленького таксика. Таксик подрастал, и, глядя на него, я всё больше понимал, что именно эта порода генетически заложена в той области моего сознания, где формируется любовь к животным. И вдруг при очередной уборке мне в руки вновь попала вынырнувшая из небытия гипсовая голова той тюремной собаки. Это была точная копия нашего пса. Оказывается, таксики, которые вошли в мою жизнь, были со мной всегда. И не случайно последний из них, Берри-

моша, стал моим многолетним соавтором – мы написали с ним немало стихов, в том числе популярную «Щенячью азбуку». В конце концов я решил, что его можно принять в Союз писателей – я внимательно изучил устав Союза: в нём нигде не написано, что писателем должен быть человек.

Детский сад – особая азбука моего детства, она так и просится на бумагу. В детском саду я научился рисовать, ругаться, я столкнулся с детской и взрослой подлостью, ненавистью, трусостью, но также с добротой, пониманием и нежностью.

Самой большой ценностью в детском саду были чернильные карандаши. Я их обожал. Я ходил с синими губами, я слюнявил грифель и однажды нарисовал на лбах моих друзей большие чернильные звёзды. «Ну вот, – сказала воспитательница. – Теперь мы знаем, кто разрисовал стены в уборной!» И несколько дней подряд я отмывал стены в уборной детского садика, разрисованные не известными мне мальчишками.

Так я впервые столкнулся с тем, что роль карандаша в жизни может таить неведомые опасности. Через много лет мне попался в руки рассказ такого же, каким я тогда был, четырёхлетки. Рассказ такой: «Жил-был писатель. У него не было карандаша. Поэтому он не пил, не ел, не спал, не писал и не какал».

Всё изменилось в жизни, когда у меня появились цветные карандаши. Я утаскивал с книжной полки учебники моей сестры, которая в те годы училась в Педиатрическом институте, и перерисовывал иллюстрации: мышцы, кровеносную систему, но больше всего я любил рисовать человеческий мозг. Родители одобряли мои рисовальные штудии, как впоследствии с не меньшим убеждением стали поощрять моё детское стихописание.



Хотя однажды мне сильно влетело. Одной из моих любимых книжек в раннем детстве была тоненькая брошюрка Владимира Маяковского «**Это книжечка моя про моря и про маяк**». Её страницы я разрисовывал цветными карандашами – не только потому, что любил рисовать: в те послевоенные годы книжки издавались скромно, с чёрно-белыми картинками, а мне хотелось солнца, моря, света, «цветного» звука, которым переполнены стихи.

И ещё мне хотелось, чтобы буквы в книге были большими – такими, как на театральных тумбах, они стали моим алфавитом. Мама уходила в магазин за продуктами, а меня – чтобы

не затолкали в толпе – оставляла на видном месте, около такой тумбы, и, пока она стояла в очередях, я водил пальцем по наклеенным афишам и учился читать. Так что первыми прочитанными мною словами были имена драматургов, актёров и названия пьес.

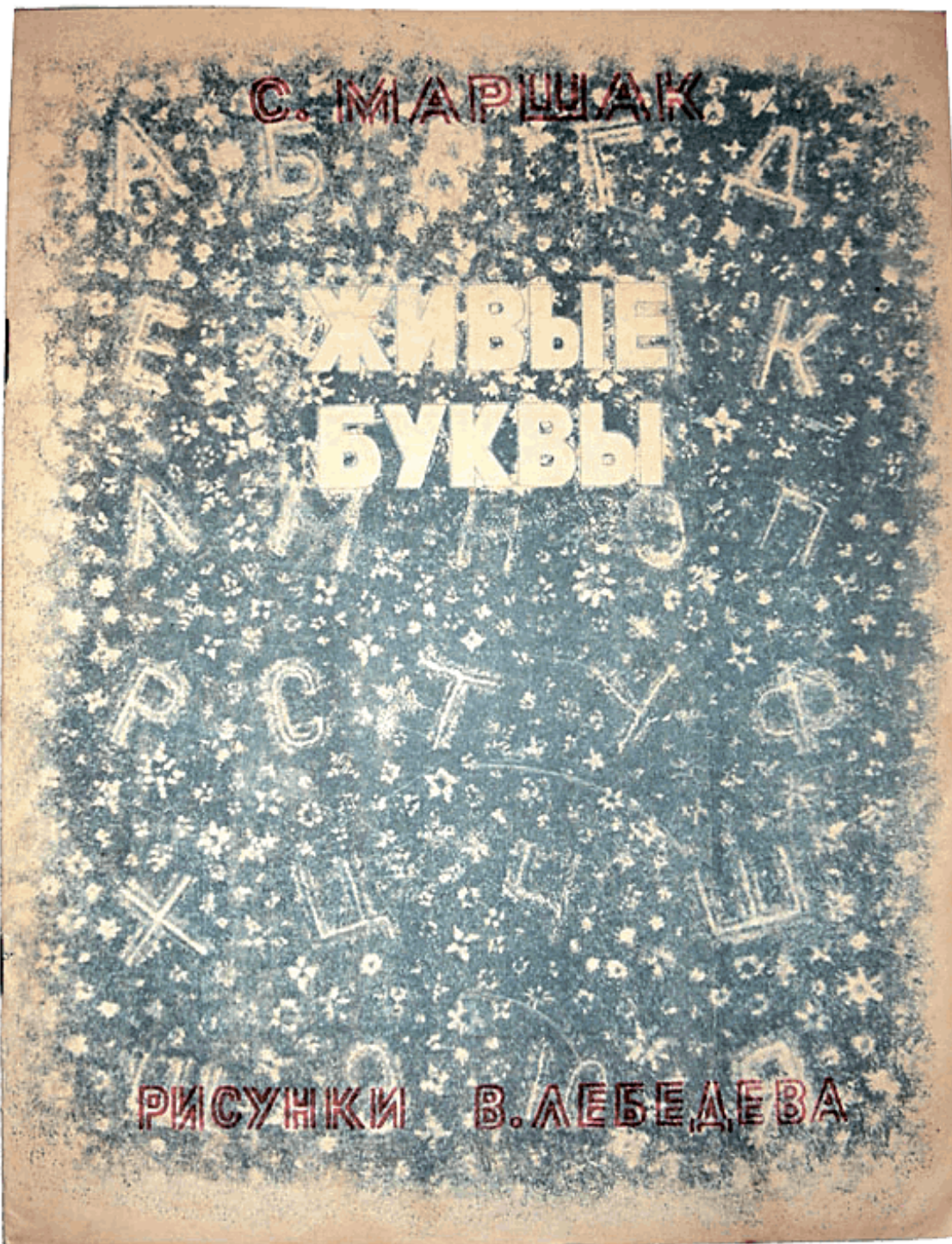
Когда я стал писать для детей, эти ранние воспоминания оказались очень важными. Я понял, что в детских стихах не обойтись без цветных звуков и больших букв. И теперь я стараюсь, чтобы в каждой моей новой книжке они встречались как можно чаще. И ещё одну вещь я понял довольно рано: каждая прочитанная книга (особенно – для меня – книга стихов), если она была «моей», становилась частичкой и моей биографии. С этой точки зрения та книга, которую вы сейчас читаете, насквозь биографична.

Солнца, моря и света мне хотелось с тех пор, когда, ещё совсем маленького, родители отвезли меня единственный раз в моём детстве «на море» – в Лиепаяю; было это, кажется, в 1949 году, летом. Я очень любил танцевать под оркестр – помню пустой зал, деревянный настил, музыкантов, барабанщика, он давал мне свои палочки, а я пробовал бить по тарелкам и большому барабану. Так вот, когда я кружился под оркестр на пустом настиле танцевального зала, совершенно замороженный звуками живой музыки, возможно, впервые тогда мною слышанной, а оркестр вдруг умолкал, я не выдерживал этой внезапной тишины и вопил: «Играй! Играй!»...

Этот эпизод я вспомнил много лет спустя, когда прочитал воспоминания Маршака о его детстве: «Нас повели в городской сад, где в круглой беседке играли военные музыканты. У меня дух захватило, когда я впервые услышал медные и серебряные голоса оркестра... Ноги мои не стояли на месте, руки рубили воздух.

Мне казалось, что эта музыка никогда не оборвётся...

Но вдруг оркестр умолк, сад опять заполнился будничным шумом, всё вокруг потускнело – будто солнце зашло за облака. Не помня себя от волнения, я взбежал по ступенькам беседки и крикнул громко – на весь городской сад: «Музыка, играй!»»



Видимо, память детства способна запускать механизмы, работающие в одном направлении. Впоследствии, оказываясь в пространстве между музыкой и литературой, я вспоминал формулу моего маленького сына – когда его спросили, в чём разница между прозой и поэзией, он ответил: «Проза ласковая, а стихи твёрдо-ударные».

Первыми стихами, которые я самостоятельно прочитал, были стихи Самуила Маршака, две его азбуки – «Живые буквы» и «Про всё на свете». Чуть позже пришли другие стихи – Чуковский, Маяковский, Барто... Азбуки Маршака остались в памяти именно как первое чтение. И даже не столько чтение, сколько разглядывание: рисунки В. Лебедева и В. Конашевича завораживали не меньше, чем маршаковские строки.



Б

Боря —
Барабанщик.



Г

Глеб —
Гранатомётчик. Дратся он идёт.



Когда я сегодня смотрю на эти картинки, мне становится «мучительно больно» за себя маленького. Теперь я понимаю, чем меня чаровали, например, герои Лебедева, – это было зеркало, это был я сам, это были живые ребята, каждым из которых я хотел стать: «**Боря-барabanщик**», марширующий в такт ударам своих палочек, «**Глеб-гранатомётчик**» в широких трусах, со спортивной гранатой в руке, «**Павел-пограничник**» в военной фуражке и с собакой... Всё это были клише:

Цезарь вам картинки выгравит на цинке,
Цинковые доски передаст в печать.

Эти – с сегодняшней точки зрения – неуклюжие, некрасиво одетые, заранее оболваненные дети – это живые образы моего детства, и деться от них некуда.

Маршак – загадочный поэт. Он сам неоднократно подчёркивал свою идеологическую ангажированность – и при этом создал выдающуюся школу детской поэзии, именно ангажированности и не терпящей. Создал – вопреки политическим и своим собственным штампам, поскольку его писательский дар оказался куда богаче и глубже потребности дня. Из этой школы вышли многие наши замечательные детские поэты, например Валентин Берестов, который сохранил и передал одно из завещаний Маршака: «держат звук». Для детского стиха нет, быть может, более важного правила, чем чистота, глубина и искренность звучания. Из него рождается афоризм, уходящий в фольклор.

В течение всей жизни я слышу вокруг себя цитаты из Маршака. «Ты не в Чикаго, моя дорогая!..» – «Это уже просто фольклор, классика!» – восклицал Юрий Карабчиевский в известной статье о Маршаке, опубликованной уже после смерти автора на страницах «Нового мира», статье пронзительно умной и несправедливо жёсткой. Но и Карабчиевскому деваться было некуда: «детям важен в книге предмет разговора и совершенно не важен автор», – замечает он. Верно, не важен, – дети читают стихи, как фольклор, и запоминают лучшие из них, как фольклор. И если взрослые цитируют детского Маршака, – значит, в них сохраняется частичка детства и ещё не всё потеряно. Спросим у любого, кто написал эти строки:

Ослик был сегодня зол –
Он узнал, что он осёл,

– и каждый ответит: Маршак!

Ещё один давний живой образ – патефон. У нас был большой набор пластинок: речи Сталина и довоенная танцевальная музыка. Внушительная стопка пластинок с речами Сталина пролежала неиспользованной до конца шестидесятых: родители не решались от них избавиться: «Выкинешь, а потом соседи донесут!» Зато «Рио-Риту» я слушал ежедневно, утром, вечером, это был мой праздник: я с трудом затаскивал громоздкий патефон на обеденный стол, сам заводил ручку и разве что просил маму вставить новую иглу – заезженная пластинка громко шипела, но божественная музыка уносила меня в иной мир и порою была куда важнее сказок, которые мне иногда читали на ночь.



В мирное время, до ареста отца, вся наша семья – мама, папа, сестра, я и кот Васька – собиралась на кухне вокруг большого обеденного стола, и мы читали по кругу какую-нибудь книжку. Мне больше всего запомнились тоненькие детиздатовские сборнички **«Некрасовской библиотеки»**, ещё довоенные, в жёлто-коричневых переплётках с профилем Некрасова

на обложке. Родители знали на память кое-какие фрагменты некрасовских стихов, я не раз слышал, как мама повторяла, стоя у плиты:

Эй, Федорушки! Варварушки!
Отпирайте сундуки!
Выходите к нам, сударушки,
Выносите пятаки!

В три года я уже сносно читал и больше всего любил читать именно стихи, далеко не всегда понимая их смысл, но зато веселясь при точной рифме:

Вздригнет встречный мужичок,
Жутко станет бабе,
Как мохнатый седачок
Рявкнет на ухабе...

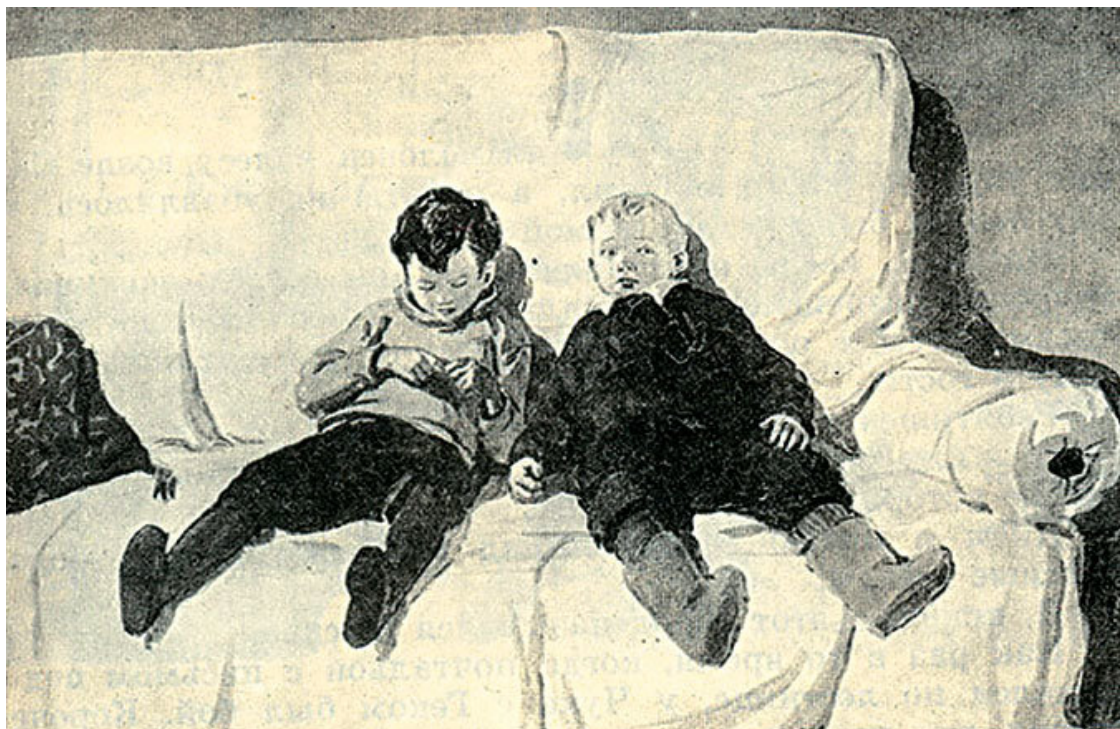
До сих пор помню, как по спине бегали мурашки от этих чудных звуков.

Мужички и бабы вокруг меня были совсем иного свойства. Уличная толпа, крикливые очереди, фабричные пьяницы, дворовая шпана, – впоследствии для всего этого нашлось определение: слободка. Слободка, зона – география и идеология моего детства, до сих пор не исчезнувшие и не избытые.

Им противостояли география и идеология другого мира – книжного. Дома были старые, дореволюционные, побитые временем тома Лермонтова и Шекспира с завораживающими гравюрами. Я доставал любимую бумагу моего детства – кальку, накладывал её на эти гравюры и перерисовывал всё, что попадалось под карандаш. Потом долгие годы находил заложенные в какие-то папки копии красавцев и красавиц, пейзажей и интерьеров – они уже жили своей жизнью и по-своему иллюстрировали то, что оставалось в памяти после чтения. Может быть, тогда был запущен другой механизм – поэтического перевода, которым я со временем стал заниматься.

Лермонтов ещё держался, но Шекспир рассыпался при каждом прикосновении. Корешок отлетал, вытарчивали нитки, которыми были сшиты листы. У меня была своя банка с клеем и кисточка, её приходилось отмачивать в горячей воде.

Запах бумаги и клея – ещё один атрибут моего детства. По инвалидности мама была надомницей – она устроилась в типографию, фальцевала и клеила дома конверты, в которых потом продавали женские чулки. Я ей помогал, а заодно подклеивал свои ветхие книги. Выручала всё та же калька, я научился склеивать ею надорванные страницы.



В то время мне редко попадали в руки новые книжки, в основном, я питался из чужих рук, книги были читанные-перечитанные, так что моя работа книжного доктора растянулась на годы. Правда, таким образом тогда была перепробована вся детская классика – от **«Чука и Гека» Гайдара** до **«Пятнадцатилетнего капитана» Жюль Верна**; позже я уже не возвращался к книгам, которые, вообще-то, следует открывать в отрочестве, а сразу же перешёл к взрослому чтению.

На последней странице детских книг, как правило, была надпись, приглашавшая «юного читателя» написать в издательство и поделиться своими впечатлениями о книге. Я писал – но ни разу не получил ответа. Много лет спустя в газете «Ленинские искры», в журнале «Костёр», в издательстве «Детская литература» я время от времени отвечал на письма читателей и старался делать это с неукоснительной точностью: я накрепко запомнил, что мне не отвечали.

А письма попадались замечательные! Одна девочка написала так: «Я хочу обзваться на эту книгу». Вторая написала так: «От этой книги я не смогла отравиться». А третья – так: «Я на эту книгу никакого впечатления не произвела». А один юный любитель природы поделился своим впечатлением: «Я прочитал книгу “Необыкновенный махаон” и теперь знаю, как ловить бабочек, морить их, и наконец сушить».

В раннем детстве, когда ты так близок к земле, мир насекомых входит существенной частью в твою Вселенную. У меня была большая ценность – сачок, но я не столько его использовал по назначению, сколько ходил с ним как со знаменем во главе своего летнего войска: изо дня в день я следил за мощным переселением народов – ползли огромные гусеницы и дождевые черви, копошились в земле жуки, просвистывали стрекозы, с цветами сливались многоцветные бабочки, и все эти личинки, куколки, надкрылья, лапки заполняли детские сны и продлевали лето. Летнее детство огорожено заборами. А там – вожденное царство, в чужом саду пошмелье, звуки, которые потом переходили в строчки.

Я начал писать довольно рано – в шесть-семь лет. В десять завёл большую амбарную книгу, в которую записывал стихи, а летом закладывал между её страниц листья гербария.

Я и сам незаметно превратился в заложника этой книги, она всегда лежала рядом со мной на столе, я брал её на дачу, а потом даже начал таскать её в школу. Но до этого ещё надо было дожить.

До школы я уже хорошо читал и писал, что же до моего детского словаря, то он, в основном, расширился за счёт, как сегодня бы сказали, общенной лексики. Мат на мебельной фабрике стоял феерический, грузчики во дворе матерились не меньше, однажды я пришёл из детского сада, залез под свой любимый стол и, по воспоминаниям родителей, стал нещадно браниться. Они разумно отмолчались, и поскольку в семье я ничего подобного не слышал, то осталась эта лексика в глубоком подсознании, и всякий раз, когда попадала в зону слуха, была напоминанием о той, другой зоне, – пролетарско-лагерной.

Не так давно, прочитав антологию современной поэзии, я был в очередной раз удручён обилием бессмысленного мата. И поделился своей печалью с одной знакомой. Она же рассказала: «Когда я была маленькая, мы гуляли с бабушкой в Летнем саду. Однажды на нашу скамейку сели мальчишки и стали материться. Тогда бабушка сказала: “Вот когда я была маленькая и гуляла со своей бабушкой в Летнем саду, такие мальчишки были по ту сторону решётки”».

Решётка Летнего сада была границей моего дошкольного заповедника. От дома до Летнего было четыре остановки на трамвае, но каждая поездка туда превращалась в длительный праздник и затягивалась на целый день.

Летний сад очень любила мама. Летний сад был источником тишины и красоты, которые почти не существовали в быту. В Летнем саду был памятник Крылову, почему-то наполнявший меня восторгом: басни Крылова стали ещё одним завораживающим дошкольным чтением.

Вокруг Летнего сада был другой город, другие дома. Но когда я ходил с мамой к её редким подругам, попадал в чужие парадные и чужие дворы, я уже стал понимать разницу между красочным фасадом и нищей коммуналкой, между остатками витражей в богатом подъезде и выбитыми стёклами в комнатах дворовых друзей. Возможно, тогда зарождалась в душе эстетика несовместимости высокой культуры и советской зоны, та, что потом резко аукнулась в отрочестве и юности.

В сентябре 1953 года я пошёл в школу.

Это другая биография, но ниточки её тянутся туда, в дошкольное детство, и всё, что я потом написал, перевёл, придумал и передумал, на что стал опираться и ориентироваться, конечно, пришло оттуда, где на заре цветидесятых я скакал на деревянной лошадке в окружении своих многочисленных друзей – зверей и насекомых, ещё не зная, что уже началась эпоха вымирания бабочек.

Уроки детской поэзии

Эти заметки я начал писать четверть века назад, когда в «Библиотеке поэта» появилась антология «Русская поэзия детям»¹. Потом вернулся к ним через восемь лет, когда в той же «Библиотеке поэта» вышел уже двухтомник под тем же названием². И вот – ещё годы и годы перерыва (между изданиями, но не в работе составителя), и перед нами уже огромный трёхтомный труд «Четыре века русской поэзии детям»³, подводящий определённые итоги, но отнюдь не ставящий точку. Работа Евгении Оскаровны Путиловой принципиально ограничивается 2000 годом – а мы живём дальше.

Те, кто любит стихи для детей, читает их, работает с ними, не так уж часто оказываются без дела: и книг, и подборок публикуется у нас немало. Иной разговор – поэтическое совершенство многих таких стихов. Но вот мы получили уникальный сплав «количества» и «качества», удивительный по отбору, объёму, богатству поэтический «текст» – целую антологию русской детской поэзии, охватывающую, помимо фольклора, огромную эпоху отечественной литературы – с 30-х годов XVII века, от «Букваря» Василия Бурцева до детских стихов наших современников, многие из которых вошли в литературу в последней четверти предыдущего столетия.

Впервые собрано воедино столько стихов, предназначенных разновозрастной детской аудитории. Впервые представлены отдельные произведения, не переиздававшиеся после первой публикации, а некоторые – и вообще ещё не добравшиеся до печатного станка. Впервые в литературный обиход введены имена не известных нам или полуизвестных авторов, писавших специально для детей. Впервые не по разным сборникам, не по разношёрстным журнальным публикациям, а в одном вычленном из общего русла поэтическом потоке перед нами предстаёт перспектива и традиция русской детской поэзии. Впервые даны (найлены, открыты, прокомментированы) неведомые прежде биографии или важные эпизоды из жизни тех или иных поэтов, писавших для детей, или из бытования некоторых стихотворений, – и также впервые представлено такое количество автобиографий живых или недавно ушедших от нас авторов...

Одних этих «впервые» достаточно, чтобы говорить не просто о конкретном издании, но скорее о представленных благодаря ему основных проблемах детской лирики, которые проясняются при таком в высшей степени интересном и поучительном чтении.

«Четыре века русской поэзии детям» – по большей части антология знакомой многим поэтической классики. Возможно, неожиданным окажется ракурс: выясняется, как много выдающихся поэтов писали и посвящали стихи детям.

Привычное и удобное мышление школьными «обоймами» оставляет за границами обыденного сознания целые пласты культуры. Детская поэзия – при великой и пристрастной любви к ней разных читательских поколений – долгое время жила сегодняшним днём, сегодняшним «набором авторов», привечаемых официальной критикой (а из поэзии XIX века эта критика в полном согласии с партийными решениями вычленяла в стихах «взрослых» поэтов-классиков только те – общеизвестные – мотивы, которые вписывались в советскую воспитательную

¹ Русская поэзия детям / Вступительная статья, составление, подготовка текста, биографические справки и примечания Е. Путиловой. Л., 1989. (Библиотека поэта. Большая серия).

² Русская поэзия детям. В 2 т. / Вступительная статья, составление, подготовка текста, биографические справки и примечания Е. Путиловой. СПб., 1997. (Новая Библиотека поэта. Большая серия).

³ Путилова Е. Четыре века русской поэзии детям. В 3 т. / Вступительные статьи, составление и примечания Е. Путиловой. СПб.: Лики России, 2013.

систему). И вдруг оказывается: какое богатство оставалось нам неведомо – не столько потому, что от многого отреклись, а кое-что было и под запретом, но ещё и потому что руки не доходили. Понадобился подвижнический труд Евгении Оскаровны Путиловой, дабы мы смогли подступиться к тому, чтобы во всей полноте понять и оценить свою традицию.

Читая стихи для детей вековой, даже двухвековой давности, видишь, сколько ценностей уже в наше время было растеряно, забыто, упущено, какие нравственные идеалы, какая поэтическая педагогика, какие глубокие милосердие и сострадание были принесены в жертву социальной назидательности и пионерскому оптимизму. Один из главных уроков чтения антологии – духовное открытие детской поэтической классики.

Мы чаще всего отталкиваемся от ближайшего, более-менее знакомого прошлого, не всегда зная, что было раньше.

С лёгкой руки Евгении Оскаровны, я нередко задаю моей аудитории вопрос: «А когда, собственно, было опубликовано в России первое стихотворение, обращённое к детям?». И многих поражает эта дата – 1634 год, «Букварь» Василия Бурцева. Оказывается, нашей детской поэзии действительно почти четыре века, и собрание столь давних и столь разновременных стихов для детей позволяет выйти за рамки узких профессиональных интересов.

В общих чертах антология «Четыре века русской поэзии детям» демонстрирует, как менялись представления о детстве, как изменялся сам ребёнок, наконец, как менялась поэзия по отношению к ребёнку. И – что, возможно, особенно показательно – как «взросло» сознание самой детской поэзии.

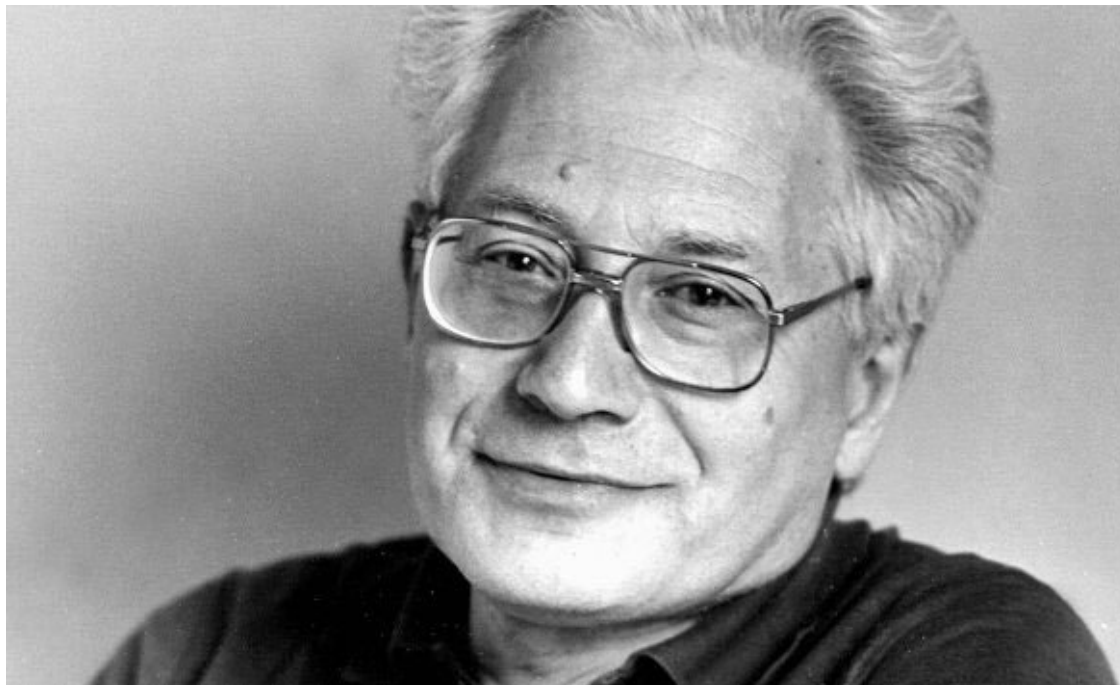
Этому способствует и позиция составителя: в книгу отбирались не просто стихи, вошедшие в детское чтение, а только те произведения, которые самим автором адресовались детям. Такое принципиальное соображение сформировало структуру антологии. С одной стороны, в неё вошло, прежде всего, всё лучшее, что на протяжении четырёх веков предназначалось для поэтического воспитания ребёнка, – именно лучшее, поскольку обогащение традиции идёт, как правило, «по вершинам». С другой – в антологию не вошла устоявшаяся, с нашей точки зрения, классика, кажется, навсегда ставшая достоянием читателя-ребёнка, но не предназначавшаяся ему изначально. Поэтому тщетно искать на страницах книги, предположим, сказки Пушкина. Зато – сколько забытых стихов, воскрешающих в подробностях жизнь детства и жизнь поэзии!

Чтение «насквозь» даёт возможность не только увидеть корни и ростки будущих открытий детской поэзии, но и выделить целые эпохи штампов, усреднённости, своего рода кича. В самом деле, в антологии встречаются и мёртворождённые куплеты на потребу дня, и зарифмованные назидания, и образцы банального сюсюканья... И это вполне естественно: важна не лакировка, а объективная правда литературы. А что до традиции, то и здесь нужно знать, откуда ведут свою родословную всем известные «как бы» детские стихи, написанные лукавыми взрослыми: все эти «встречалки» и «речёвки» на праздниках, «поздравилки» партийным функционерам, пустопорожние славословия труду, миру, любви и счастью, доморощенные «вирши на воспитание» и прочие произведения детской массовой культуры советского да и постсоветского времени.

Узнавая и постигая такую традицию, узнаёшь и открываешь то, что ей противостояло: стихи А. Шишкова и А. Пчельниковой, Л. Модзалевского и Д. Минаева, К. Льдова и М. Моравской (хотя бы авторов только из первого тома!) – поэтов, не входящих ныне в обязательный круг чтения детской аудитории. Возвращение читателю этих имён – безусловная заслуга составителя и комментатора антологии.

В октябре 2006 года я познакомился с **Игорем Семёновичем Коном**. Это произошло в Париже – мы оказались за соседними столами в библиотеке «Дома наук о человеке».

Позже Игорь Семёнович прислал мне электронный набор своей уникальной автобиографии «Эпоху не выбирают» (кажется, в бумажном виде эта книга так и не появилась). Я же по горячим следам от этого примечательного для меня знакомства перечитал книгу Кона об этнографии детства «Ребёнок и общество» – в своё время она вышла да и попала мне в руки почти одновременно с первым изданием путиловской антологии.



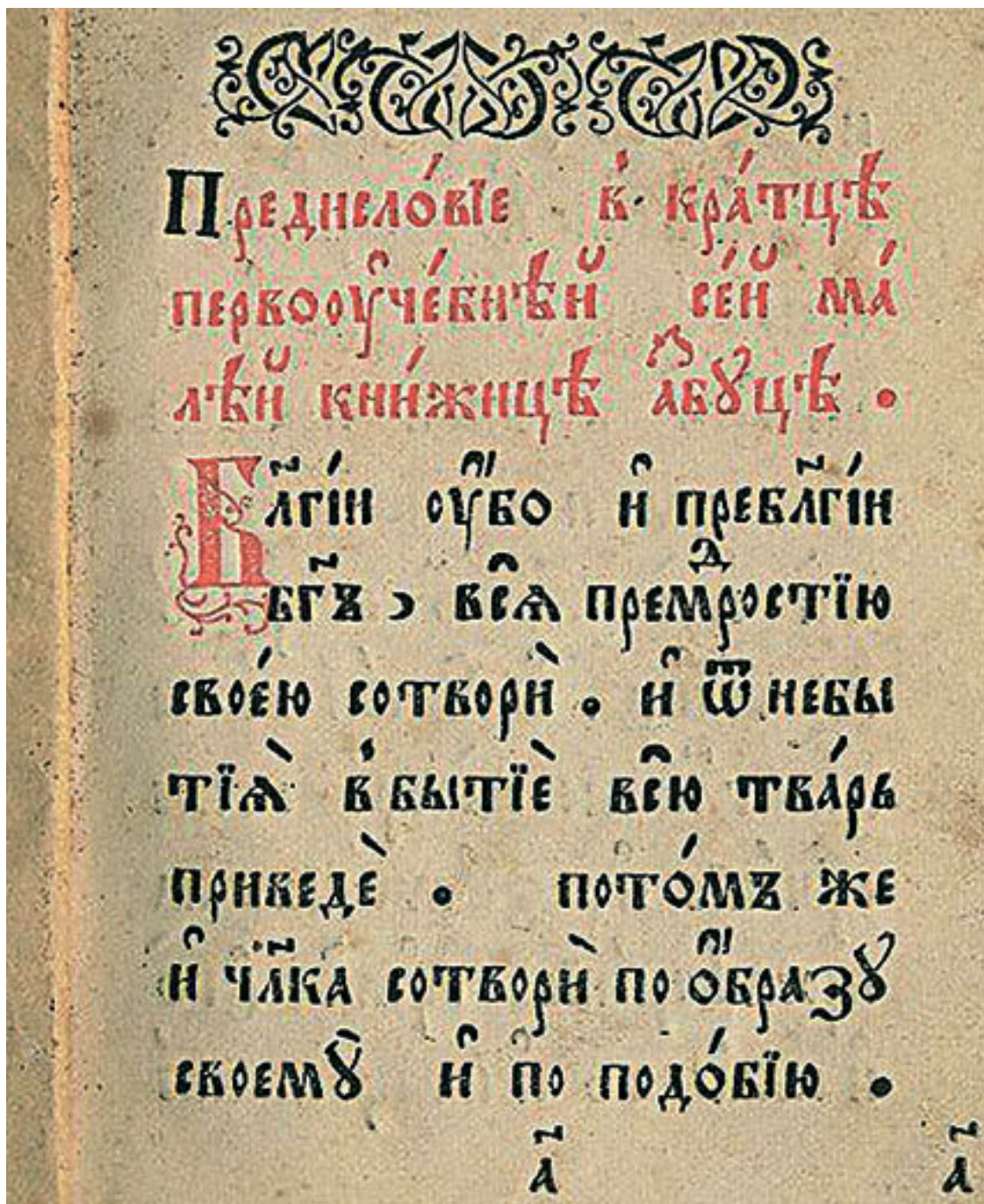
В этой монографии целый раздел посвящён эволюции понятия и образа детства, истории «осознания детства как особого социокультурного явления»⁴. Кратко характеризуя изменение отношения к ребёнку, учёный отмечает, что именно в XVII и XVIII веках произошло открытие «образа детства», признание за детством самостоятельной ценности. Если в эпоху классицизма, пишет он, ребёнок был ещё на периферии внимания, а в литературе просветительства был всего лишь объектом воспитания, то у романтиков «отношение переворачивается». Раскрывая этот тезис, И. Кон цитирует Н. Берковского: «...романтизм установил культ ребёнка и культ детства. XVIII век до них понимал ребёнка как взрослого маленького формата... С романтиков начинаются детские дети, и их ценят самих по себе, а не в качестве кандидатов в будущие взрослые»⁵.

«Усложнение и обогащение граней детских образов, – подчёркивает Игорь Семёнович, – можно считать открытиями художественного познания: раньше таких проблем и свойств либо не знали, либо не умели или не смели изображать, а теперь это делают, и нам ясно, что это правда, так оно и есть, странно, что раньше над этим почему-то не задумывались»⁶.

⁴ Кон И. Ребёнок и общество. Историко-этнографическая перспектива. М., 1988. С. 40.

⁵ Кон И. Ребёнок и общество. Историко-этнографическая перспектива. М., 1988. С. 8.

⁶ Кон И. Ребёнок и общество. Историко-этнографическая перспектива. М., 1988. С. 9.



Антология «Четыре века русской поэзии детям» может считаться образцовым свидетельством в пользу размышлений этих учёных. К тому же она располагает к диахроническому чтению, при котором нас поджидают сопоставления и открытия.

Признаться, меня необыкновенно удивило то обстоятельство, что, оказывается (и по текстам, представленным в антологии это отчётливо видно), долгие годы, целые десятилетия детская поэзия, как ни странно, не знала «малого» ребёнка. Первые русские поэты, писавшие для детей, разговаривали с «отроком», поскольку понятие поэтического воспитания входило в жизнь, как мы сейчас понимаем, постепенно, лишь в процессе церковного и светского обучения. «Благоумное отроча», «младый отроче» – так обращается **Василий Бурцев** к читателям своего «Букваря»:

Сия зримая малая книжица,

По реченному алфавитница,
Напечатана бысть по царскому велению
Вам, младым детем, к научению.
Ты же, благоумное отроча, сему внимай,
От нижния степени на вышнюю восступай...

Слово «дети», произнесённое в самом начале «Букваря», выглядит символически: едва появившись в стихах, обращённых именно к «младым детям», оно тут же уступает место «благоумным отрокам» и появится в детской поэзии куда позднее, на границе XVIII и XIX веков. Утверждение детства не только как социокультурного понятия, утверждение самого по себе ребёнка не только как равноправного члена общества, но как создателя и потребителя художественного слова, – эту роль взяла на себя детская литература. Е. Путилова рассказывает и показывает, как, в частности, детская поэзия становится феноменом русской культуры.

«Для отроков и отроковиц» пишет лицевой, то есть иллюстрированный, букварь Карион Истомин. Его знаменитый «Домострой» посвящён непосредственно ученику, подростку. Если в стихах и встречается определение «малый», то разве что как антоним «большого». Французский историк Филипп Арьес, с которого, как замечает И. Кон, начинается современная история детства, определяет это явление, по сути дела, средневековым сознанием, когда слово и само понятие «ребёнок» «не имело в языке своего современного ограничительного смысла; люди употребляли его так же широко, как мы сегодня пользуемся словом “парень”»⁷.

На протяжении XVII–XVIII, да и первой половины XIX века основные потребности малых детей в поэтическом слове удовлетворял только фольклор – как взрослый, обращённый к ребёнку (например, колыбельные или всевозможная поэзия пестования), так и собственно детский, игровой. Причём, естественно, в своём устном бытовании. Первые публикации детского фольклора начали появляться, как известно, только в 30-е годы XIX столетия. Лучшие, наиболее художественные образцы такого фольклора, представленные в книге «Четыре века русской поэзии детям», дают возможность увидеть и оценить истоки авторской детской поэзии.

Между тем «поиск ребёнка» в ней шёл хотя и медленно, но поступательно, следуя за открытиями всей литературы. Подростки, юноши наделялись всё более конкретными человеческими качествами. Если в XVII веке поэты уже обрели, по формуле Монтеня, «способность снизойти до влечений ребёнка»⁸, то в следующем столетии детская поэзия делает решительный шаг в сторону «дитяти» и «начинает приближаться к быту ребёнка, к его играм, развлечениям, взаимоотношениям с родителями»⁹. На смену анонимному отроку приходит реальный (часто с именем) герой детской поэзии.

В «Письме к девицам г-же Нелидовой и г-же Борщовой» А. Сумарокова (1774) – обращение к конкретным воспитанницам Смольного института. В «Послании к детям Николушке и Грушеньке» Г. Хованского (1795), в «Хоре детей маленькой Наташе» А. Мерзлякова (1811) наконец появляются малые дети. «Дитя», «младенчик» становятся персонажами стихов М. Хераскова, Н. Смирнова, П. Голенищева-Кутузова, И. Дмитриева. Ровесники и погодки, молодые люди, пронизанные пафосом педагогического преобразования общества, они буквально внесли на своих руках в поэзию XIX века нового персонажа – живого, думающего, переживающего ребёнка.

Но, на мой взгляд, может быть, первым настоящим детским поэтом стал Александр Семёнович Шишков, вошедший в историю литературы разнообразными своими деяниями, однако в качестве автора, писавшего для детей, известный разве что специалистам. Песенки, сценки,

⁷ Кон И. Ребёнок и общество. Историко-этнографическая перспектива. М., 1988. С. 7.

⁸ Размышления и афоризмы французских моралистов XVI–XVIII веков. Л., 1987. С. 46.

⁹ Путилова Е. Русская поэзия детям / Четыре века русской поэзии детям. Т. 1. С. 13.

монологи из шишковского переложения «Детской библиотеки» немецкого педагога Иоахима Генриха Кампе, и сегодня поражающие блестящей формой, живостью, экспрессией свидетельствуют о том, что с Шишкова начался в русской детской поэзии взгляд изнутри детского сознания. Написанные от лица ребёнка, стихи не только умелы, но и психологически точны:

По самые груди
Иду в глубину.
Эй, добрые люди,
Прощайте: нырну.
Какое приволье
Купаться в реке!
Раздолье, раздолье
В таком холодке.

Смотрите, Петруша
Плывёт на спине;
А там вон Андрюша
Верхом на бревне.
Эй, брат, не свалися
С коня своего;
Держися, держися,
Приляг на него...

Песенка на купанье. <1773>

Трудно себе представить, что этим крепким, «заводным», живым по интонации стихам уже два с лишним столетия! «Понятно, – замечает современный исследователь, – что “переводчик” от души добавлял в книгу своих оригинальных сочинений. Но дело не только в этом. Ведь переводил-то он на язык, которого ещё не существовало! Только по ходу дела Шишков и создавал язык русской литературы для детей: он вырабатывал в ней простой, почти “простонародный” слог – а в то же время слог чуткий и возвышенный; энергичный, задорный – но вместе с тем сердечный, трогательный; слог шуточный, озорной – и, одновременно, полный важных мыслей и серьёзных размышлений. <...>

Шишков в “Детской библиотеке” впервые показал те благородные возможности живого народного языка, который через двадцать лет доведёт до совершенства в своих баснях Иван Крылов (не случайно Крылов станет со временем одним из ближайших товарищей и союзников Шишкова), а ещё через двадцать лет – подхватит Александр Пушкин¹⁰.

Хочу привести ещё одно переложение Шишкова из Кампе; эта «Песенка при спелении дитяти» – чуть ли не единственный образец подобного жанра в нашей детской классической традиции. Е. Путилова «Песенку» в свою антологию не отобрала, а жаль – вот откуда растут ноги и сегодняшних попыток сочинять авторскую поэзию пестования!

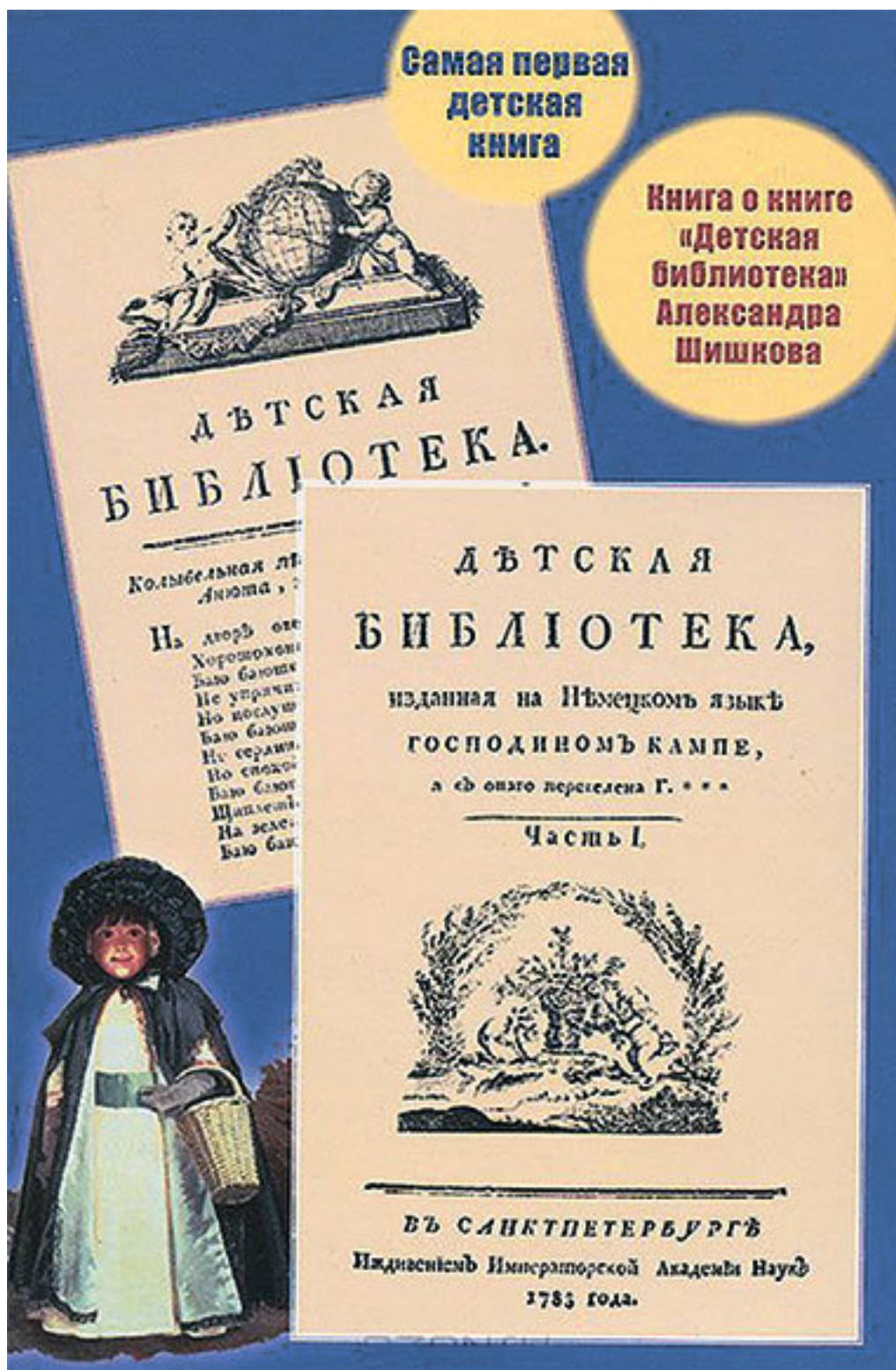
Хоть матушка тебя,
Анюта, пеленает,
Не плачь, она любя
Добра тебе желает.
Пелёнка хоть и жмёт,
Как быть, она полезна,

¹⁰ Русаков А. Предисловие / «Детская библиотека» Александра Шишкова. СПб., 2012. С. 5 («Книга о книге»).

Покой твой бережёт,
Анютушка любезна.

В дни зрелой красоты
Уже не плененою
Хранима будешь ты,
Но матерней рукою.
Не сетуй, коль она
Покажется сурова:
То также пелена
Для сердца молодова.

В течение XIX века русская поэзия отрабатывала самые разные приёмы, образы, характеры персонажей, оставаясь верной общегуманистическим представлениям о пороках, добродетелях, идеалах. В рамках этих представлений утверждался *положительный герой* детской поэзии.



Если сейчас мы больше «отталкиваемся от противного», создаём, по привычке разрушая, то полтора-два века назад главным пафосом детской поэзии, как показывает антология, было дидактическое воспитание христианской нравственности, в крайних своих проявлениях пытавшееся создать незыблемые стереотипы зарифмованной морали. Правда, именно эти «расплодившиеся» крайности привели к тому, что, например, позднее А. Блок, чуткий

ко многим поэтическим явлениям, считал «большинство детских книг в стихах» «дилетантскими стихотворными упражнениями»¹¹.

Но наряду с ними существовала и развивалась подлинная поэзия. Более того: с середины века начинают возникать стихи, которые остаются детским чтением на долгие годы, для многих поколений, некоторые – вплоть до наших дней. Детская поэзия становится популярной. Можно сказать, что её современная история и начинается с возникновения хрестоматийности. «Котик и козлик» Жуковского, «Сиротка» Петерсона, «Раз-два-три-четыре-пять» Миллера, «Приглашение в школу» Модзалевского, многочисленные «Птички» – Туманского, Элизы Эльген, Жуковского, Пчельниковой... Эти стихи, считает Е. Путилова, «первыми ответили потребности ребёнка услышать и сказать о себе... Стихи легко запоминались, их перекладывали на музыку, они переходили в детскую игру»¹². К этому следует добавить, что, читая антологию, начинаешь понимать «механизм» возникновения популярности детского стиха. Безусловно, должна быть стопроцентная психологическая точность, простота и ясность, но ещё – своевременность появления, созвучие детской и – что немаловажно – родительской среде.

«Птичка» Ф. Туманского, опубликованная в 1827 году и воспевавшая свободу в противовес «темнице», конечно же, воспринималась на фоне постдекабристских умонастроений (внимательный читатель антологии может проследить «птичий сюжет» в русской детской поэзии вплоть до знаменитой «Птицы в клетке» Олега Григорьева). Так же как популярнейшая «Нива» Ю. Жадовской, появившаяся в канун крестьянской реформы, или «Приглашение в школу» Л. Модзалевского, приравнивавшее труд школьника к труду взрослого в духе идеалов 60-х годов, импонировали родителям и наверняка рекомендовались ими детям.

Эти произведения на долгие годы определили «фонд» детской поэзии, но поистине всенародными стали стихи, обращённые к самому юному читателю-слушателю и наделённые всеми чертами и признаками подлинного фольклора. Такие стихи быстро теряли авторство, становились анонимными, как народная поэзия. И если, благодаря многочисленным публикациям, современные родители могут вспомнить, что строки:

Там котик усатый
По садику бродит,
А козлик рогатый
За котиком ходит... –

принадлежат перу Василия Жуковского, а современные дети, внимательно читающие всё ещё популярные «Весёлые картинки», могут знать, что слова самой известной детской песни «В лесу родилась ёлочка» принадлежат **Раисе Кудашевой**, то, скорее всего, ни родители, ни дети не скажут, что стихи «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять...» написал известный в прошлом переводчик и поэт **Фёдор Миллер**.

¹¹ Блок А. Записные книжки. 1901–1920. М., 1965. С. 273.

¹² Путилова Е. Русская поэзия детям / Четыре века русской поэзии детям. Т. 1. С. 19.



Вообще следует отметить значительную частотность крылатых строк русской поэзии, собранных под обложкой антологии. Книга «сопрягает» известные строки с известными и забытыми именами, показывает, какое богатство хранится в детской комнате нашей поэзии.

Ещё один немаловажный урок этого чтения – научиться находить тропинки и дороги, которые ведут во внутренний мир ребёнка. Детская литература знает два пути: «туризм в детство», окрашенный разнообразными чувствами личных воспоминаний, и непосредственное соучастие, слияние автора и его маленького героя. Антология даёт возможность в равной степени оценить оба пути. На мой взгляд, труднее, но короче и богаче оказывается второй.

С точки зрения выросшего взрослого, «детство сияет, как радуга в небе» (И. Никитин). Во многих стихах такого ностальгического характера детский мир – это волшебные грёзы, эфемерные дворцы, готовые рухнуть под натиском суровой действительности. Взрослый делится с ребёнком своим, в основном, не очень-то весёлым опытом. Как же тут не возникнуть последовательной назидательности, незатейливой прямолинейности, которые были свойственны мно-

гим произведениям демократического толка. Как правило, это не столько стихи для детей, сколько о них:

Детский мир – великий горн природы...
В нём сердца куёт за веком век;
Из него на труд, на битву с тьмою
В путь идёт грядущий человек!..

А. Фёдоров. Детский мир. 1909

Такой взгляд не «изнутри», а «сверху» или «со стороны» был характерен для многих серьёзных лириков XIX – начала XX столетия, обращавшихся к детям редко и мало, – например, для С. Надсона, Д. Мережковского, В. Пяста, А. Белого. Тем не менее их стихи важны в общем контексте интереса взрослой литературы к детству. Куда оригинальнее выглядят попытки авторов встать на сторону ребёнка, взглянуть на мир его глазами, печалиться и радоваться вместе с ним.

С расцветом детской журналистики происходило интенсивное освоение поэтами детского сознания. И мне кажется в связи с этим, что существенно важными для развития и запечатления «детского сознания» в поэзии стали постепенно вошедшие в традицию публикации, изучение (и семейное собирание) детских речений – совсем скоро это отразится в одной из гениальных книг нашего детства, «От двух до пяти» Чуковского. Сегодня эти речения стали важным объектом научных исследований в лингвистике и культуре детства (особенно плодотворных, когда речь заходит о различиях между нормативной и детской грамматиками) – вот ещё один повод порадоваться и поработать детским писателям!¹³

Поэты учились устами ребёнка говорить об окружающем его обществе взрослых и детей, о природе, о жизни. В самой поэзии стало последовательно проводиться разграничение стихов для маленьких и для более старшего возраста, чувство «своей» аудитории становится ценным свойством настоящего детского писателя.

Поэты некрасовской школы открыли и опозитизировали мир крестьянского ребёнка; поэты других убеждений и направлений, от К. Льдова до Саши Чёрного, очертили куда менее гармоничный и прекраснотушный круг интересов городских детей. Ребёнок не просто восхищается или ужасается, любит или ненавидит – лучшие поэты наделяют его целой гаммой тонких переживаний:

Уж рамы вставили, и вязкой
По всем щелям, со всех сторон
Мы их обмазали замазкой,
И сразу смолк из церкви звон.

Все звуки как-то вдруг застыли,
И стало тихо так у нас,
Как будто мы сидим в бутылки,
Как будто вдруг наш слух погас.

В этих блистательных строчках М. П. Чехова, брата Антона Павловича Чехова (они опубликованы под псевдонимом «Кузнечик», но, судя по всему, принадлежат именно

¹³ См., напр., работы большого специалиста в этой области Стеллы Наумовны Цейтлин: *Язык и ребенок / Лингвистика детской речи*. М., 2000; *Словарь детских словообразовательных инноваций*. СПб., 2006.

М. П. Чехову), открывается чуткая детская душа, способная на образное постижение ординарной бытовой ситуации.

Стихи для малышей Д. Минаева, П. Соловьевой, М. Пожаровой всё шире и шире раздвигали границы детского сознания, обогащая его новыми предметами реального быта, – в то время как А. Коринфский, К. Бальмонт, С. Городецкий возвращали его в стихию народной жизни, имитируя, иногда весьма удачно, разнообразные формы фольклорного стиха.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.